

ПОКОЛЕНИЕ ПОТЕРЬ (ЭССЕ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ)¹

О.П. Зубец
Институт философии РАН

Аннотация: *Поколение – социологическое понятие, и уже в силу одного этого оно неприменимо к философии, понимаемой как исключительно персональное, субъектное дело, как особый образ жизни в пространстве самодостаточного мышления. Философ не видит самого себя в принадлежности философскому поколению как некоторому множеству философов (хотя он и принадлежит своему поколению в качестве социального существа). Философское поколение для философа есть излишнее понятие, ибо оно воплощено в нем самом, в его единственности. Тем не менее, отвечая на вопрос о собственном философском поколении, автор определяет его как «поколение потерь» (отличное от потерянного поколения). Его потери многочисленны: потери единого философского основания, единого понятийного языка, единого набора комментируемых текстов (цитат), потери социального будущего – утопии, идеальной перспективы, и еще – потери востребованности в публичном пространстве, сознания собственной значимости – это потеря того, что было у шестидесятников. Поколение, которое может быть ассоциировано с перестройкой, не стало поколением революции (что подтверждает понимание произошедшего как финального этапа длительного процесса контрреволюции) и лишается антибуржуазного пафоса, бывшего ценностной основой философии по меньшей мере с XIX века.*

Ключевые слова: *поколение, философия, марксизм, философский факультет МГУ, Институт философии, этика, потеря.*

Задача, поставленная передо мной – рассказать о своем поколении в философии, – содержит в себе нечто, что раздражает и отталкивает, но даже если усилием воли проигнорировать эту непосредственную реакцию, то она всё равно проявит себя в двух неустранимых противостояниях, в мягкой форме принимающих форму вопросов: во-первых, насколько я вправе судить о так называемом своем поколении, если я не пользуюсь этим понятием и не мыслю себя в качестве представителя некоего философского поколения? И во-вторых: как можно говорить о философском поколении, понимая философию как исключительно персонафицированное самодостаточное мышление, противопоставленное социологическому взгляду, противопоставляя единственность философа социологичности понятия поколения?

¹ Первая публикация была осуществлена в издании: Зубец О.П. Поколение потерь (эссе на заданную тему). – Философские поколения / Автор идеи, сост. и отв. ред. Ю.В. Синеокая. – М.: ЯСК, 2022. – С. 612–626.

Если следовать за Ортегой-и-Гассетом, поколение есть «множество похожих друг на друга созданий с новым жизненным восприятием», которые «входят в мир, наделенные особыми, характерными склонностями, предпочтениями, сообщающими их облику нечто общее, отличающее их от предшествующего поколения», которые к тому же – не современники, а ровесники и «каждый индивид таинственным образом узнает других членов своей группы: так муравьи из одного муравейника отличают друг друга по особому запаху» [Ортега-и-Гассет б/г]. На принадлежащих одному поколению есть «невыводимая татуировка», особый муравьиный запах, какими бы разными ни были отдельные индивиды – они обречены принадлежать поколению. Но сколь ограничен успех социологического взгляда на философа, столь же сомнительно приложение к последнему понятий, рожденных в этой оптике.

Идея философского поколения, возможно, и возникает в голове историка философии – но только в той степени, в какой он смотрит на философию извне, как на совокупность индивидуальных биографий, объединяемых некоторыми значимыми событиями и темами. Но и тут возникают сомнения. Действительно, наверное, можно сказать, что целый ряд известных философов принадлежит к поколению, пережившему Лиссабонское землетрясение, что на многих из них эта природная катастрофа действительно повлияла, что они писали о ней. Но тем не менее в истории Вольтер, Руссо и Кант, кажется, не объединены понятием поколения, для них оказалось достаточным слова Просвещение. Точно так же целый ряд философов XX века пережили Аушвиц, который Лиотар сравнивает с Лиссабонским землетрясением, но тем не менее даже те из них, кто «заражен» темой Аушвица, не мыслят себя в качестве единого поколения. Получается, что поколение в философии не задается ни единством события, ни единством темы. Оно вообще не задается изнутри философии, но лишь принадлежностью к нефилософскому сообществу – через соотнесенность с литературой, искусством или особыми формами вхождения интеллектуалов в публичное пространство (так, во всяком случае, возникает философия Серебряного века или философы-шестидесятники).

По Карлу Маннгейму, поколение – это группа индивидов одного возраста, столкнувшихся со значимыми историческими событиями в некий единый период времени. Наверное, как социальные существа, принадлежавшие к одному обществу, городу, даже району, мы действительно сталкивались с одними событиями политической жизни, а так же с тем, что нельзя назвать событием, но можно назвать общим течением жизни. Но событийное наполнение жизни, понимаемое, в первую очередь, как совокупность социально значимых событий, и есть именно то, от чего дистанцируется философ, уединяющийся в скорлупе своей мысли. Он не может не отрывать себя от поколения, не отделять и не выделять. В силу этого он ничего не может и не хочет сказать о социально-фактологическом наполнении своей жизни, общем с другими людьми. Его жизнь наполнена не социальными событиями, но событиями собственного бытия в мысли. По одной из классификаций я принадлежу «гагаринскому» поколению, основными событиями которого названы застой и начало системного кризиса СССР, афганская война, польская солидарность: это – смешное описание, дискредитирующее все подобные перечни. Вот эта цитата – одна из моих любимых: «С точки зрения политики ошибка этой новой и типично современной философии достаточно проста – она понимает и описывает сферу человеческого действия не с позиции “актера”, некоего действующего лица, а с позиции наблюдающего за действием зрителя» [Арендт 2011: 65]². Можно ли описать поколение с точки зрения деятеля, если для деятеля поколение просто не видимо?

² В лучшем, как мне кажется, переводе В.В. Библихина: «С политической стороны ошибка этой новой и типично новоевропейской философии относительно проста. Она заключается в описании и осмыслении всей области человеческого действия не в терминах действующего лица и деятеля, а с точки зрения зрителя, наблюдающего спектакль» [Арендт б/г].

В любом случае, описать с точки зрения деятеля и значит – с собственной точки зрения, со своего единственного места в мире, в истории.

В советской философии вообще есть, кажется, лишь одно поколение – поколение шестидесятников: но если поставить вопрос о нем как о философском поколении, то и оно оказывается неочевидным. В любом случае, скорее всего в философию это слово пришло с шестидесятниками, нужно для их описания и излишне вне них. Шестидесятниками считают тех, кто заявил о себе в шестидесятые годы (а не родился и не учился тогда). Точно так же шестидесятниками XIX века называют тех, кто заявил о себе в конце 1850-х и в 1860-х годах: используется именно это слово. Но когда заявили о себе люди, близкие мне по возрасту? И в чем это заявление? Или можно спросить себя – заявила ли я сама о себе и когда это случилось? Не будет ли точнее сказать, что это заявление скорее всего мерещится впереди, а если и случилось – то совсем недавно. Если оставить в стороне «заявленность» поколения и собственную интеллектуальную историю, если попытаться все же увидеть нас как некое единство, которое можно описать одним словом, то слово это будет – *потеря*.

Бывают, наверное, поколения открытий, открытые в будущее. Бывают потерянные поколения, лишние: те, которые кто-то терял, по которым кто-то тосковал, которые кому-то мешали. А бывает поколение потерь, по нему никто не тоскует, и оно само не тоскует по себе. Это поколение мыслится таковым в отказе от самого себя. Вот именно таким поколением потерь я бы могла назвать свое: потери эти были многогранны – потери единого философского основания, единого понятийного языка, единого набора комментируемых текстов (цитат), а еще потери социального будущего – утопии, идеальной перспективы, и еще – потери востребованности в публичном пространстве, сознания собственной значимости. И всё это, потерянное нами, было у шестидесятников.

Мы были молоды, а общество было старым. Мы еще не знали, что оно умирает, многим казалось, что оно еще в начале исторического пути, что лишь его вожди, к которым мы относились с некоторой юмористической отстраненностью, стары. Об этом было и в моей диссертации – о социальном и личностном старении: мне казалось, что будущее доминирует – идея коммунистического преобразования мира и собственная жизнь были именно там, впереди. Доминирование будущего – перспективная темпоральная направленность – казалось основанием подлинности, в том числе не иллюзорности морали, ценностей, об этом была моя диссертация. Темпоральное совпадение и резонанс индивидуального, личностного и социально-исторического времени – это и есть источник подлинности. Ошибка заключалась, скорее всего, не в самой этой мысли, а в переносе революционной идеи на общество, которое уже давно двигалось по пути контрреволюции. Но окончательно мы могли осознать потерю будущего, задававшегося антибуржуазной революцией, когда распался Советский Союз и буржуазность была заявлена в качестве предела совместного стремления.

Возможно, кто-то назовет это поколение поколением перелома: действительно, кандидатские защищались в атмосфере господства марксизма, общности языка, понятийной системы, основанной на марксизме, а вот докторские (а их было защищено множество) – уже в атмосфере повального отказа от марксизма и поиска иных оснований, а иногда и вообще без поиска, когда исследование посвящено некоторой проблеме и разворачивается без обращения к философским началам, в некотором исходном вакууме, вне задания мира как целого. И сам вопрос о том, к какой философской традиции принадлежит автор или каково собственно его философское учение, воспринимается как излишний, притом что прежняя опора на марксизм явно или неявно отвергается. Открытость многообразия философских школ, способов помыслить мир в его целостности в большинстве случаев не стала толчком к самоопределению собственного персонального мышления. Потеря единого философского основания, единства языка и делает мое поколение поколением потерь. В результате большинство стали специа-

листами по тем или иным проблемам вне философски задаваемого мира, рассматриваемым вне целостного философского взгляда на мир как целое.

В моих воспоминаниях (не претендующих на объективность) наиболее теоретически основательными, глубокими были те курсы, которые читались по трудам Маркса: в первую очередь, это был курс Елизаветы Ивановны Хессиной по политэкономии, который состоял в чтении «Капитала», и именно этого было достаточно, а из философских курсов – по-видимому, лекции Виктора Алексеевича Вазюлина тоже по «Капиталу» – но это уже не было первым, восторженно-формирующим свиданием с этим трудом, и я тут больше воспроизвожу оценку других слушателей, чем собственное восприятие. К сожалению, ни Ильенкова, ни Зиновьева не было среди наших преподавателей. Думаю, эти курсы имели принципиальное отличие и преимущество: в них речь шла о том, как нам самим мыслить, о том учении, которое принималось как основа нашего собственного философского мышления. Этим они отличались от изучения истории философии, которая, к сожалению, чаще всего (не всегда, наверное) представлялась совокупностью профессионального знания, объектом критики, как не-собственное основание. Больше, чем лекции на факультете, воспринимавшиеся как некая рутина с ее плавным течением, повлияли взрывные по своему характеру школы молодых ученых (когда я участвовала в качестве и ученика, и позже – учителя). Именно там философы (и часто – нефилософы) говорили именно от первого лица, а не как передатчики запрограммированного знания, и это отличало их от факультетских лекций в чем-то очень важном, возможно – главном для философии: лектор обычно говорил не о своем и не о себе, в лучшем случае он был интерпретатором, комментатором, систематизатором, ответственным за «не свою мысль», что по-своему абсурдно. Философия как предельно субъектное мышление, ставящее мыслящего в центр мира, не могла жить и заражать в этом лекционном пространстве. Школы молодых ученых были принципиально иными: на них круглые сутки «учителя» говорили о своем и о себе, были обнажены в своем философском качестве. Там я слушала и слышала В.М. Межуева (и это опять был Маркс, и свобода, но иная, чем та, что отвергалась мной в своей буржуазности) и А.А. Гусейнова (первая встреча с этикой Аристотеля, со столь труднодостижимым морально-философским перерождением), которых приняла полностью, а понимала со временем: их мысли как бы вызревали во мне. Были и те, кого тоже слышала, но восприняла с недоверием, с ощущением вторичности: так было с И.С. Коном – он воспринимался скорее как просветитель. Были и отвергаемые – например, Батищев, выгонявший пытавшихся что-то записать. Решающей была возможность после лекции насладиться обладанием мыслью, когда она была такой, что я могла бы принять ее, сделать своей до такой степени, чтобы излагать ее от своего, от первого лица: не знать больше, а мыслить иначе, присвоить. Но так случалось очень редко. Точно – так было после выступлений Межуева, Гусейнова, позже – К.А. Свасьяна. Были и встречи: обед на балконе Праги с Мамардашвили, беседы с Н.З. Чавчавадзе, прогулки, самые разные разговоры, то, что можно назвать жизнью рядом с людьми и молодостью с ее самоуверенностью, быстротой ума и неустойчивостью мысли, с доверием к собственной субъективности. И было много упущений – столько было не услышано, не понято, недооценено.

А еще были имена-символы, имена-тайны, очерчивавшие отдаленную область высшего, подлинного, глубокого, изошренного, имена, значившие нечто большее, чем связанные с ними тексты и идеи, имена-пароли. Бахтин, Аверинцев, Лотман. Достать их книги или статьи было совершенно необходимо, не менее необходимо, чем прочитать. (Из них живьем я слушала только Аверинцева, он читал свои стихи в Доме кино, было плохо слышно, почти непонятно и не имело прямого отношения к имени – Аверинцев.) Все эти люди формально не были философами, не были марксистами. Но было еще одно имя – Ильенков, он был еще жив в мои студенческие годы, но я его никогда не видела. Зато его статья «Идеальное»

в «Философской энциклопедии» наполняла каким-то почти телесным наслаждением, в ней философия из некоторого недостижимого стремления превращалась в осязаемую данность.

Так сложилось, что только через много лет важнейшим собеседником для меня стал Аристотель, он оказался ближе, роднее, чем моральные философы Нового времени, именно он положил в основание этики предельно метафизическое понятие поступка и человека как начала поступка. Когда же я попыталась текстуально отследить отношение к Аристотелю Маркса, то оказалось, что в моей интеллектуальной биографии и не было разрыва.

Наше поколение потеряло единство философского основания и понятийного языка, единство совокупности классических текстов. Для кого-то сейчас однообразие цитат и источников моего времени может показаться недостатком. Мы и сами могли иронизировать по этому поводу. Но сейчас, ретроспективно я бы описала это однообразие принадлежностью к единой школе мысли. Однообразие цитат – их сосчитанность и актуальная данность всем участникам разговора – это и опыт, например, тех, кто имеет дело с античной философией. И это ведет вовсе не к ограниченности, это позволяет сосредоточиться на главном, бежать вокруг заданной точки подобно паломникам, бегущим вокруг Каабы в Мекке.

Взгляд со стороны (не изнутри с точки своей центральности и единственности, для этого направления взгляда не может быть такого вопроса) на себя допускает вопрос: что во мне – от поколения, что во мне – общее с теми, с кем я объединен в идее одного поколения? Можно ли назвать этим общим некий событийный ряд? И что включить в этот ряд – то есть что было значимо, определяло идеи, область интересов, образ жизни? А что из событий прошло мимо? Наша юность сначала была сжата, в потом продлена – когда нас снова, уже тридцатилетних, накрыл и потащил вал новой, до того недоступной литературы. Эти годы непрерывного чтения и особого опыта политической жизни, выхода в живое публичное пространство должны были развернуть масштаб нашей мысли, породить великое, как это свойственно революциям. Но этого не случилось, как мне кажется. Возможно, от того, что кажущееся революцией в масштабах жизни поколения может быть завершением или вариантом контрреволюции – той контрреволюции, которая началась почти сразу, уже в 20-е годы прошлого века. И тогда понятно, что столь вдохновляющее настроение перестройки и опыт выхода на площадь обернулось вовсе не революционной мыслью, не восторгом творчества, а пошлейшими усилиями вписаться в буржуазную реальность, воспеть мещанские ценности – то есть вернуться к так называемому нормальному ходу истории и жизни. Да, мы прочитали Солженицына, а потом – Шаламова. И сделали выбор в пользу Шаламова. Мы прочитали очень много непрочитанного прежде. Но остались поколением потерь, а не обретенных. Мы читали непрочитанное – непрочитанную советскую литературу, непрочитанные труды зарубежных философов. «Непрочитанное ранее» – это определение несет что-то безнадежное и печальное: мы перерождались без перерождения, мы уютно чувствовали себя в совершенно изменившейся идеологической и повседневной реальности, продолжали писать, публиковаться, читать лекции, защищаться, делать карьеру. И именно это оборачивается тайной подсказкой: что-то ненастоящее, неглубокое, неподлинное подобно хронической и почти бессимптомной болезни было и есть в нас. Как легко мыслящие себя марксистами стали антимарксистами, научные коммунисты переименовались в политологов, критики западной философии – в ее восторженных апологетов. Дело не в оценке содержания этих изменений, а в самой их легкости, незаметности. Чем же мы были, если так успешно вписались в ход истории? И какие у нас основания считать, что тогда были ничем, а сейчас стали всем? Мы потеряли временную перспективу – а что это означает для философской мысли, если она перестает быть утопией культуры, ограничивая себя ее рефлексивной ретроспекцией! Мы потеряли чувство востребованности – философ стал маргиналом. Из носителя и автора господствующей идеологии он стал провинциалом культуры. Возможно, это и более ком-

фортно для философии как таковой, возможно, это и благотворно для нее, странно сочетающей уединение со способностью взбегать на баррикады. Но это все равно безусловная потеря: ведь и потери бывают благотворны.

Где временная граница между поколениями? На моем курсе (мы учились на философском факультете в 1976–1981 гг.) были люди лет на 10 старше меня, а среди моих преподавателей – их ровесники и даже кто-то моложе. (И самой мне пришлось вести занятия на ИПК при МГУ с людьми, намного, иногда в несколько раз старше меня, что было предметом непрестанной критики.) Отношение «учитель – ученик» совершенно очевидно обладает приоритетом в моем восприятии, так что Доброхотов, Подорога и многие другие не принадлежат к моему поколению, ибо они – учителя. Так, я ходила слушать первый, наверное, спецкурс Александра Львовича Доброхотова у вечерников – о Демокрите и немецких романтиках. Там меня увлекла мысль о схожести атома Демокрита и идеи Платона: когда столь много говорилось о разведении материализма и идеализма, это звучало крамоллой и уже в силу этого было невероятно притягательным. В пространстве академической и университетской жизни не деление на поколения, а принадлежность к ученикам или учителям воспринимается мной как значимое, возможно – из-за того, что я пришла в университет прямо из школы, в которой граница между учителем и учеником является определяющей. Поэтому, например, Александр Львович Доброхотов для меня навсегда принадлежит к поколению учителей – именно потому, что я слушала его спецкурс, слушала его как преподавателя. А многие, кто даже старше него, остаются для меня учениками, такими же, как и я сама. Эта граница намного более неодолима, чем та, которая пролегла позже – между мной как преподавателем и теми, кто слушал меня по воле расписания занятий.

Как-то незаметно юношеское неприятие обыденности, эмпирической повседневности, опирающееся на антибуржуазность, бывшую для меня своего рода семейным стилем и традицией, перешло в стремление к небанальному высказыванию: то есть философия сначала и в первую очередь была для меня путем к такому высказыванию, которое не принимается обыденным сознанием, непонятно и часто неприемлемо для нефилософа. Именно это стало своего рода ориентиром, заменой стремлению к истине, которое казалось чем-то сомнительным, если не бесчеловечным, а истина и познание с самого начала были заключены в некоторые кавычки, лишены превосходства, приоритета (тем более что познание давалось легко, без усилий именно в силу изобретательности ума, а не дисциплины памяти): возможно, именно это сейчас, через много лет, объясняет тот странный выбор кафедры, который я сделала на третьем курсе.

Увлекала философия как противостояние повседневному опыту, банальности основанных на нем высказываний, и в этом она резонировала с «идеализмом» марксизма, его неприятием буржуазной пошлости и устремленностью к миру и к мысли через отрицание, критику.

Марксизм принципиально не банален. И эта его черта была воспринята мной всерьез – еще тогда, когда я писала реферат по политэкономии о семье и браке, так рассмешивший своей наивностью Хессину. Через лет пять-шесть я читала лекции по линии общества «Знание» – огромным женщинам с распаренными руками в каком-то цеху или несколькими сотням военных, примаршировавших в необозримо длинный и узкий зал. Как смешна была эта лекция, читавшаяся девчонкой, о конце брака, о пошлости и разрушенности семьи, о подлинности любви (что впоследствии привело к понятию любви как вне- и антинормативности, ничемнеобусловленности). И все же эта марксистская критика мира порождала то, что не способны породить многие иные учения: этот задающий взгляд на настоящее из будущего, этот восторг и энергию мысли, столь критичной к пошлости и обману повседневной жизни. Взгляд, совершенно лишенный моралистической риторики, развенчивающий идеологию, религию, мораль.

Может быть, в силу семейных традиций эпоха революции была в моем представлении невероятным творческим всплеском, воплощением свободы, отказа от множества социальных пут: экономических, гендерных, возрастных и национальных. Это было то, чему я доверяла: там, именно в этом времени мой дед дружил с Хлебниковым, они с бабушкой-синеглазницей ходили на спектакли Мейерхольда (о которых она так любила восторженно вспоминать). Однажды, когда мы с бабушкой ехали на троллейбусе вдоль Тверского бульвара, он показал на толпу на тротуаре и сказал: «Умер великий артист» (может быть – режиссер, тут память меня подводит). Мне было, наверное, лет пять. Это было поколение, способное кого-то и что-то считать великим. Мое поколение не способно на это. И еще это прошлое было страстно антимещанским и атеистичным. Атеистичным было и мое поколение, во всяком случае так оно было повернуто ко мне. Но оно уже не было ни антимещанским, ни революционным: в нем тлело нечто перегоревшее, но согреть и осветить этот огонь уже не мог. На нынешних встречах одноклассников я с удивлением узнаю, сколько среди них, оказывается, тогда было антисоветчиков и верующих. Я этого не знала, не видела и, пожалуй, не верю. Даже если я не мыслю себя в принадлежности поколению (точно так же как враждебно настроена к любому социологическому, социально-групповому само-помысливанию), то кому есть до этого дело?! Взгляд извне все равно будет определять и расставлять. Отрицание этого взгляда при сохранении идеи поколения означает, что остается только попробовать представить себя самого в качестве единственного и уже в силу этого наиточнейшего олицетворения своего поколения, сказать: «Мое поколение – это я» – и ослепнуть и оглохнуть к пониманию сомнительности этого утверждения и очевидности правоты несогласия с ним.

Я часто общаюсь с одноклассниками и, пожалуй, могу сказать, что мы принадлежим к одному поколению, несмотря на различия профессий, интересов, взглядов, биографий и даже уже стран. Но я почти не общаюсь с однокурсниками и не мыслю себя в принадлежности им как поколению: дело здесь, скорее всего, не в различии наших детских лет, возраста, среды и т. п. Дело здесь – в самой философии. Разве мы мыслим историю философии поколениями? Нет, только отдельными именами, и еще немного – эпохами и странами, которые если и важны, то для историков философии, но не для самих философов в их общении друг с другом. Великие философы не принадлежат своему поколению, они сами – каждый в своей единственности – задают философию в ее полноте. Иными словами, как мне кажется, понятие поколения неприменимо к философии, более того – философия отменяет идею поколения: у меня может быть больше общего с мыслителем, на два тысячелетия старшим, его тексты могут восприниматься мной с большей легкостью и вызывать больший ответ, чем те, кто родился в одно со мной время или сидел со мной в поточной аудитории первого гуманитарного корпуса.

Но как тогда мне ответить на вопрос о своем поколении? Социологически я действительно принадлежу ему, но в пространстве философии – категорически нет. И описать то, что называют поколением, я могу лишь исходя из собственного интеллектуального движения, допуская поколение, представленное мной самой в моей единственности. Я и есть поколение, если уж кому-то угодно это слово, хотя оно совершенно излишне для самоопределения, для самоощущения философа.

Юность – странное сочетание таланта и глупости, живости ума и его неоправданной претенциозности. Мир моих биологических пристрастий разрушился под ножом, которым надо было резать лягушку (в серьезном биологическом кружке, заседавшем в каком-то подвале в районе Никитской). Исследование животного и любовь к нему оказались несовместимыми: так я оказалась на философском факультете – здесь еще не было для меня ни любви, ни насилия. Просто – некое умное место. Да, я знала три источника и три составные части марксизма – о них спросили на собеседовании. Первое собрание курса было шоком: тут

были совсем другие люди. Большинство – старше меня. После службы в армии, работы во всяких трудных местах они резко повернули свою жизнь – с разными целями, большая часть которых мне были понятны, но чужды: благополучность детства не требовала ни борьбы, ни сильного стремления, я была бесцельна и просто отдалась течению факультетской регламентации жизни – лекции, семинары, конспекты, домашние задания. Самые запомнившиеся преподаватели первого курса: Петр Яковлевич Гальперин (психология) – он был так красив и так свободен, именно он, не спрашивая, исправлял поставленные ассистентами тройки на пятёрки, полностью принимая на себя ответственность и за хороших, и за плохих студентов и заодно обесценивая любые оценки; меня захватило, что в течение целого года Гальперин говорил только о поиске предмета психологии и так и не находил его: это было что-то очень важное и для понимания философии, а еще это было первым столкновением с персонифицированным противостоянием теорий, учений (Гальперина и Леонтьева) – хотя, кажется, Петр Яковлевич не рассказывал о нем, но мы это знали и воспринимали как противостояние личностей: и возможно, с тех пор философская идея стала для меня неустранимо персональной; Евгений Казимирович Войшвилло – увлеченный предметом, дававшим мне так легко; Хессина – политэкономия, чтение «Капитала», и это определяет все: курс был невероятен просто потому, что мы читали, конспектировали, пересказывали «Капитал». (И еще ее уже упоминавшаяся снисходительная ирония по отношению к моему доверчиво-максималистскому увлечению марксистской критикой семьи в первом в жизни реферате.) На первом курсе таких значимых преподавателей было несколько, это было предельно концентрированное время учебы. А.Н. Чанышев рассказывал свои книги по досократикам, иногда его книги рассказывал (почти читал) В.В. Соколов. Но чем больше становилось философских предметов, тем меньше было таких людей. (Это как-то перекликается с тем, что немногие наиболее значимые (на мой взгляд) для моральной философии тексты в XX веке были написаны не профессиональными этиками, в частности – М.М. Бахтиным, Ханной Арендт, В.В. Бибихиным.) А.С. Богомолов начал курс, но вскоре прервал его из-за здоровья – и я не успела узнать его.

Я не шла туда, куда меня звали – не знаю почему. Ко мне хорошо относились два преподавателя факультета – судя по тому, что они звали меня на свои кафедры: это К.Я. Войшвилло и М.П. Новиков, логика и атеизм. Но что-то в моем характере не позволило согласиться и пойти на одну из этих кафедр. Я избрала кафедру, на которую меня не звали, даже, пожалуй, время от времени мне казалось, что меня не очень то хотят там, на которой я чувствовала себя неудобно, не была любимой или обласканной и предмет которой ускользал от меня, – на кафедру этики. И впоследствии я ничего не знала ни о сотрудниках кафедры, ни об их взаимоотношениях – знала лишь, о чем они пишут и говорят. Я не понимала, где оказалась и зачем – но именно это отсутствие знания и интуитивное ощущение, что знанием здесь ничего не решишь, что оно здесь не главное, а главное – уловить очень труднодоступную нить мысли, которую никто из окружающих не может протянуть, передать. И еще меня все время мучило чувство, что для того, чтобы быть моральным философом, надо чтобы что-то очень существенное совершенно перевернулось в мышлении, чтобы совершилось что-то невероятно трудное, почти неодолимое; и вот этого всё меняющего переворота во мне не было – я выбрала этику, потому что стремилась к выбору, а значит к противодвижению, а в результате продолжала двигаться в обычном русле «научного взгляда на мир». Мне обычно все давалось легко – чтение, некоторое понимание, размышление; мне нравилось изобретать: например, показать, что потребитель не потребляет, что время порождено любым типом движения и возраст задается характером этого движения, а не количеством лет, т. п., так я интуитивно открывала темы, которые становились предметом интереса многих несколько позже – позже меня. И все же было больно и тревожно ощущать мыслью, что я не понимаю, что такое этическое, что такое моральная философия: что для этого во мне слишком много

научно-познавательного, хотя весьма изобретательного и самостоятельного, но нет этого слома, этого сумасшествия, которое необходимо для мышления о морали. Я как будто повисла между двумя вершинами, не ощущая убеждающей опоры. Прошло много-много лет, когда, как мне кажется, это искомое перерождение способа мыслить случилось – и это самое важное и самое лучшее, что может случиться с тем, кто занимается философией: когда он пытается с повседневным опытом и с научно-отстраненным взглядом и пускается во все тяжкие и с самого начала. Вот тогда, когда перестают принимать коллеги, когда с тобой не согласится ни один человек с улицы, – тогда можно позволить себе радость альпиниста, добравшегося до вершины, до такого узкого и опасного совершенно пустого пятка, с которого можно смотреть и не желать ничего иного. Возможно и скорее всего, я еще не дошла до этого странного места, и все же что-то случилось, именно то, что не случилось во время учебы и долго после нее. Возможно, Аристотель был прав, оговаривая, что юношам многого не хватает для занятия философией. Возможно, с другими, с моими однокурсниками, подобное случилось раньше – я не смею судить об этом.

Отношения с избранным жизненным занятием разворачивались в отношения с книгами, схватываемые в трех сюжетах. У художника Рождественского (он, кажется, выставлялся на Малой Грузинской) мы (я и сестра) покупали ксероксы основных работ Ницше, пару трудов Фрейда, что-то еще. «Генеалогия морали» Ницше (потом уже издававшаяся как «К генеалогии морали») была исчеркана мной. Печать копии была очень нечеткой, и приходилось очень напрягать зрение, разбирать текст, иногда гадая о нечитаемых словах. (Я уж не говорю, что это был текст с ятями.) Это было совершенно особое чтение – когда напряжение понимания гармонировало с напряжением видения. Возможно, поэтому через много лет, несмотря на стоящие на полках другие издания Ницше, наверняка более точные и уж точно несопоставимо легче читаемые, я все равно предпочитала это старое издание, даже ссылаться на которое уже неприлично. Вторая история такова. Мы ходили на квартирник к Саше Кривомазову. Я была только на двух-трех. Надо было ехать куда-то далеко на окраину Москвы (так мне казалось). В однокомнатной квартире собиралось много людей. Но кое-что оттолкнуло меня сразу от всего происходившего: в комнате было много книжных шкафов или полок – почти все стены были ими заняты. И корешок каждой книги был аккуратно заложен листом белой бумаги. Каждый из тысячи корешков. Это, конечно, можно было объяснить – посторонние люди не должны были видеть это богатство. Возможно, не должны были и отвлекаться от происходящего. Не должны были воровать и выдавать. Но это было страшно, отвратительно. Эти белые листы, предназначенные для написания текстов, книг, статей, служили чему-то противоположному. Третья история – как я купила собрание сочинений Маркса. Это случилось тогда, когда все происходящее подсказывало, что это огромное собрание сочинений не нужно, поздно покупать. Клара Ароновна Шварцман уезжала в Израиль и предложила мне купить у нее Маркса-Энгельса. Ей надо было освободить квартиру, и деньги тоже были не лишними. Почему она предложила мне – не знаю. Может быть, я просто услышала сказанное для многих. Но я купила, приехала, долго и тяжело таскала. Сейчас нечитаемый ксерокс Ницше и коричневая громада собрания сочинений соседствуют. Они формируют пространство моего упрямства, сопротивление потерям. Моему поколению приходится решать, что делать со множеством книг, написанных и купленных тогда, в конце 70-х и начале 80-х, которые сейчас отвержены, обесмыслены, смешны, эти многочисленные сборники, в которых есть одна статья, ради которой и была некогда куплена книга. Тезисы конференций с одним-двумя именами, из-за которых невозможно выбросить эту никогда не читаемую книгу. Но и не только из-за этих имен, а просто потому, что это было, и было отчего-то важно. Это – смешной выбор, перед которым стоит мое поколение. То, что выбрасы-

ваешь сам – уже не есть потеря. Потеря в том, что мы вынуждены выбирать. В том, что библиотека вывезена на дачу.

Моя диссертация была посвящена так называемой темпоральности, попытке понять мораль с помощью понятий социального, личностного и т. п. времени. Общая идея заключалась, кажется, в том, что перспективная направленность времени лежит в основе моральной регуляции поведения, а изменение этой направленности на ретроспективную превращает мораль в иллюзию. Сейчас я, нынешняя, не подписалась бы под этим текстом, невзлюбила бы его за наукообразность и за то понимание морали, которое для меня абсолютно неприемлемо. Хотя само обращение к не-хронологическому, не-физическому времени в то время было чем-то совершенно новым, «категории средневековой культура» Гуревича были единственным источником по школе Анналов. Станным образом я снова вернулась к трудам Ле Гоффа (о котором мало знала в аспирантские времена, и тем не менее из вторых рук оказалась под его влиянием), когда начала писать об аристократизме как системе ценностей, потом об аристократизме как особом идеале и способе жизни. Я описывала его через понятия праздности, дара, центральности и единственности, поступания. Небольшой параграф о величавом у Аристотеля, очевидно аристократическом образе, перерос в отдельную тему – о Величавом. Появились понятия поступка, субъектности, начала. И так получилось, что аристократизм стал для меня основанием поступания как такового, Аристотель вступил в диалог с Бахтиным, для которого центральность и единственность – важнейшие понятия философии поступка. И вот уже мораль невозможно понимать как способ ценностно-нормативной регуляции, но лишь как форму субъектного бытия в поступке, вне которого нет ни меня, ни моего мира. И вот уже философия возможна лишь как самодостаточное мышление от первого лица, а моральная философия – как первая философия. Не помню, как случилось, что я встретила в Интернете с фильмом Клода Ланцмана «Шоа» – это очень длинный и очень тяжелый фильм. И я посмотрела его без пауз. И с того момента нарастающей волной меня подхватило, и я уже читала и писала всё более и более об Аушвице. И оказалось, что только моральная философия, основанная на понятии поступка (а значит – единственной центральной ответственности за весь мир), может сохранить право и способность мыслить после Аушвица, возможность мышления для того, кто ответственен за него, а только таковым и может быть нынешний моральный философ. Мысли и стиль восьмидесятых были потеряны мной, сброшены и затоптаны. Но это касалось только этики. В том виде, в каком она понималась и мной, и большинством в восьмидесятые, она была отталкивающей.

Философ не принадлежит поколению хотя бы в силу своего разрыва с социумом, который необходим для мыслительного уединения и свободы, для погружения в пространство философии как самодостаточного мышления. В отличие от ученых, которым для погружения в свою область необходимо быть современными, быть в необходимом диалоге с учеными своего поколения, своего времени, знать последние достижения, философ скорее обретет почву под ногами, если обратится к тем, кто невероятно отдален во времени от него самого или, что точнее, просто, как и он, принадлежит иному времени. Он не доверяет ни известным интерпретациям, ни переводам, но нуждается в том, чтобы начать как бы совершенно заново, положив себя началом и будучи таким началом мира. «Мысль только тогда и плодотворна, когда она ничем не связана: в этом ее сила в сравнении с другими плотскими делами. Так нет же. Взяли ее и заковали в условия времени, чтобы обессилить, обезличить ее. И именно эта форма обессиленная стремится поглотить всё. Философы, мудрецы свои думы высказывают к первому числу месяца, и пророки тоже» [Толстой 1952: 107] – о том же сетует Лев Николаевич Толстой.

Что в таком случае может значить для философа поколение?! Оно так же мало значит для него, как и его фактическая биография, которая очевидно проигрывает истории его соб-

ственного мышления. Подобно Аристотелю – если вспомнить то, сколько слов уделял его биографии в своих лекциях Хайдеггер, – он «родился, жил и умер». Этим Хайдеггер как будто отвечает многочисленным авторам, столь яростно сделавшим своим предметом хайдеггеровский нацизм – описание жизни философа не заслуживает более этих трех слов, каковы бы ни были перипетии его биографии, сколько бы много сомнительных или неуспешных шагов он ни предпринимал в качестве социального индивида, а философы чаще всего были неуспешны в этом качестве. Небольшое отличие моего поколения – это то, что мы родились и большинство еще живы. Это значит, что подобно тому, как совершающий поступок не знает его смысла, как смысл подвига героя не дан ему, пока он жив, так и нам не дано знать, какими определениями наградят нас, когда наша индивидуальная история завершится. Пока мы живы – эти определения нам неизвестны и не нужны. Только шестидесятники получили свое определение при жизни, только они стали поколением, но не философским поколением. Те, кто заявил о себе в период перестройки, почему-то не стали поколением перестройки – значит, или дело вовсе не в значимых социальных поворотах, или то, что связано с оттепелью, намного более колоритно, чем то, что произошло в перестройку. Подобное предположение кажется странным, противоречащим всем социально-историческим оценкам, в его пользу говорит только одно – существование понятия «шестидесятники». И оно говорит, что тогда как перестройка и последующий поворот увенчали и завершили семидесятилетнее контрреволюционное движение (что очевидно, если говорить о смене формы собственности и разрастании государственно-бюрократической машины), оттепель была сопротивляющимся ему усилием, поиском того, что уничтожалось, искажалось, умертвлялось этим движением.

Мне кажется, что учеба протекала какой-то внешней каймой моей жизни, она не затрагивала глубины, была легкой. Когда разрушилась страна, разрушился прежний язык, это не стало для большинства ни трагедией, ни радостным поворотом. Появились новые темы, новые запросы. Для меня они были, скорее, отталкивающими – в силу таящихся за ними мелкобуржуазных идеалов. Уходил в прошлое марксизм, который нес в себе запал духовного идеализма, мечты, утопии. Именно так сказал мне о нем один английский философ на конгрессе в Брайтоне – он сказал, что марксизм и наша страна притягательны для него своим идеализмом. На вопрос – где он работает, он ответил, что нигде, что он живет в замке. Все это казалось мне тогда чужеродным и ошибочным. А через лет десять я начала писать о замке, об аристократизме. Возможно, оттого, что не могла принять буржуазность – ни идею взаимности и равенства, ни ценность отчужденного труда, ни возможности рынка. Не могла принять и нововременную идею морали, пропитанную рыночным духом. Мне понятен этот путь, но вряд ли он может что-то сказать о пути тех, с кем мы некогда сидели в первой поточной.

Пространственно философский факультет МГУ периода моей студенческой и аспирантской жизни и Институт философии (в той мере, в какой я с ним тогда сталкивалась) – это коридоры: два совершенно разных коридора. В моем восприятии того времени – светлый, малоорганизованный, обжито-обшарпанный коридор одиннадцатого этажа стекляшки с путаницей разномерных аудиторий и кафедр, парткома, профкома, комитета ВЛКСМ. И темный, скрипучий, высокопотолочный коридор Института философии – в нем ты сразу ощущал себя чужеродным, он изгонял, ставил на место. За время учебы я была там лишь пару раз (какая ошибка, какая потеря!), каждый раз это было связано с сектором этики – чужим, неприветливым, неинтересным. Институт казался самодовольным (вряд ли – самодостаточным), негостеприимным, выталкивающим. Сначала мне казалось, что именно факультет МГУ – самое прекрасное место для философа, самое подлинное и живое. Но когда стало ясно, что кафедра не жаждет заполучить меня в качестве сотрудника (уже защитившегося тогда), когда самые близкие мне ее сотрудники перешли в институт, когда я проработала несколько лет на кафедре философии ИПК, раздражая

своим присутствием ее руководство, – всё изменилось. Переход в институт не был одномоментным – он еще долго казался чужим, не теплым. Думаю, институт и сейчас для тех, кто приходит в него извне, – совсем не легкое дыхание. Мне кажется, он немного теплеет, когда ты начинаешь узнавать людей в лицо и одновременно находишь для себя уединенное место. Место, где собрались философы, не может быть ни уютным, ни гостеприимным – что же тут поделаешь. А если оно становится таковым, то перестает быть философским.

Арендт Х. б/г. О революции / Перевод В.В. Бибихина. – Сайт В.В. Бибихина. – Доступно: http://www.bibikhin.ru/o_revolutsii. – Проверено: 22.11.2022.

Арендт Х. 2011. *О революции*. – М.: Европа.

Ортега-и-Гассет Х. б/г. Что такое философия. Лекция вторая. – *Гуманитарный портал*. – Доступно: <https://gtmarket.ru/library/basis/5600/5602>. – Проверено: 22.11.2022.

Толстой Л.Н. 1952. Дневник и записные книжки. 1890 г. – Толстой Л.Н. *Полн. собр. соч.: в 90 т.* Т. 51. – М.: Художественная литература.